

The top half of the book cover features a silhouette of a woman with long hair, looking upwards against a twilight sky. The sky transitions from a deep blue at the top to a soft pink and orange near the horizon. A crescent moon is visible in the upper left, and a flock of birds is scattered across the sky. Bare, spindly branches of shrubs are visible in the foreground. In the top right corner, there is a white circle with a black border containing the text '16+'.

16+

Светлана Нина

Лики памяти

Светлана Нина

Лики памяти

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Нина С.

Лики памяти / С. Нина — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Роман - дымка. Роман об улетевших в прошлое малиновых закатах и неопределенном счастье потерянной юности. Роман о ностальгии по отчужденному дому и неизбежности течения времени, о тяжести воздушного бытия и пыли на балетках. В оформлении обложки использована фотография с сайта pexels.

© Нина С., 2018

© ЛитРес: Самиздат, 2018

Содержание

1	6
2	8
3	10
4	11
5	13
6	15
7	17
8	19
9	20
10	21
11	23
12	25
13	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

*And one day we will die
And our ashes will fly from the aeroplane over the sea
But for now we are young
Let us lay in the sun
And count every beautiful thing we can see.
Neutral Milk Hotel*

1

В девятнадцать я мечтала стать Франсуазой Саган... Если и удастся, то уже с очень большим опозданием. «Здравствуй, грусть!» актуальна каждое мгновение, даже забрызганное буйным соком веселья. Прекраснейшее чувство на земле, примешиваясь к любому проявлению, придает ему пикантности. Нужно лишь умело апеллировать чувствами и не позволять им разверзаться в тоску, когда скука сжирает изнутри, и хочется разгрести это мгновение руками, как уничтожающие тучи. Писать об этих ощущениях надо только в тиши сумрачной комнаты, искоса поглядывая на рассеивающуюся мглу заката и ощущая запах выстиранной одежды с балкона; наблюдая, как глупые жухелицы пытаются прорваться сквозь преграду оконной сетки. Это не только исповедь, но и попытка вырвать кусок жизни, прочно застолбить его на долговременной памяти бумаги. Это зарисовка, эскиз, претендующий на изысканность, скрытый монолог, тягучий, порой непонятный, многим ненужный вовсе.

Это почти дневник, разбавленный растворяющейся фантазией, чтобы скрыть свое истинное лицо, как Шекспир, за маской. Я понимаю, почему один из величайших гениев канул в лету в спокойствии инкогнито. Что может быть печальнее и страшнее, чем выставить себя, обнаженного, напоказ, на потеху ни черта не смыслящей толпе? Это так же путано, как слова после кофе через недосып, как необходимость работать или дружить, когда усталость отключает важнейшие функции организма.

Упоительное приближение к порогу в этом мире – счастьем быть наедине с собой и окутывать мир собственным сознанием. Здесь нет злости и недомолвок, неверно истолкованных жестов других, нет самих других. Они не важны и не нужны. И лишь бесподобные аккорды «Explosions in the Sky» елозят рядом и выкорчевывают мозг расплавленным потоком. И только какие-то размытые образы людей, лишенных качеств и оболочек, встают где-то на горизонте, окутываясь легковесностью зарисовок, чтобы кануть в небытие так же быстро, как пришли.

Вечный путанный сон с его теплой болью... В силах ли кто-то объяснить непостижимейшее в мире – существование? Факт того, что мы не только обитаем в этом измерении, но и имеем сознание. Тайна, которую смертным не разгадать. За вуалью, за достижимостью.

Для чего я пишу это? Иначе нельзя, иначе каждый прожитый день видится каким-то тусклым и никчемным, а совесть исподволь укоряет за бесцельность. На рождение человека вселенной положено столько сил и средств, что мы права не имеем губить проблески. Это все равно что презреть собственную иммунную систему и планомерно уничтожать ее.

Это не роман и не повесть. Это вырванный кусок плоти с трепещущей жилой существования. Какой-то марафон затертых впечатлений и чужих историй... Исповедь кратких зарисовок мелкими радостями, как в «Амели». Без морализаторства и скрытой уверенности в собственной правоте. Воздушное, земное описание, душащее и затуманенное.

Как остальные люди могут быть настолько же живыми, если не видят сейчас этого заката и не чувствуют этого дуновения в растворенное окно? Кто-нибудь до меня вообще воспринимал подобное именно с моими грезами, воспоминаниями, которые наполняют и разрывают, ускользая, дразня?... Которые теряют свое сияние, облачаясь во что-то осязаемое. Порой чувствуешь себя первопроходцем, одиночкой в прекрасной и страшной пустыне под названием «жизнь»... И она настолько великолепна, что начинаешь задыхаться от одного только сознания, что она тебе дана. Дарована. Чем или кем, я не знаю, как и любой другой человек на планете. Но благодарю. Вот в чем великое счастье – видеть листья под ногами. Дышать воздухом, несущим в себе частицы нагретой земли. Спать, зная, что завтра проснешься и начнешь вновь.

Просто потрогать, запечатлеть жизнь, как она есть. Звуки, запахи, дробь и дрожь, сплетенные в совершенстве мироздания.

Миг – и все это улетает, рассеивается. И нужно уже спешить на автобус, по вечным делам... Вот только зачем? Что это в рамках вечности? Что значат наши жалкие потуги отгородиться от главного?

Пестрые пленки непревзойденных импрессионистов, будоражащий орган, волосы, пахнущие кокосом – это лишь способ ухватить мгновение вселенской красоты, не дать ему выпасть, раствориться, кануть или распасться на сегменты. Путь вглубь, путь туда, куда мы обязаны стремиться самим фактом своего появления. Путь понять.

2

«Мне 20 лет», – повторяла я себе в каком-то забытье высшей точки, пересматривая шедевр Хуциева и слушая «Сплин». Мне должно быть свежо и радостно, но «так часто слишком грустно, и только двадцать лет». А через минуту случится что-то, я выбегу отсюда и потеряю нить настроения, хрупкий рассыпчатый его песок сменится чем-то более обыденным и неинтересным, но терпимым в крошечных дозах...

Меня страшит эта перспектива. Не то что взросления... Вхождения в жизнь, как говорят, но на деле все иначе – попадая во взрослую жизнь, люди из нее уходят. Они ее теряют. У них больше нет времени заниматься тем, что только и имеет значение – любовью и философией. Познанием. Они начинают думать, что узнали достаточно. И это непоправимая ошибка. Много узнать нельзя, невозможно. Сколько ни знаешь – всегда мало. Люди пресыщены обкромсанностью жизни – и это ошибка.

Несмотря на все шероховатости роль взрослой, но еще очень молодой девушки 21 века пленительна. Подростковых проблем и комплексов уже нет, как и рабства прошлого, семья еще не заведена, а кайф от свободы и открытых дорог не перечеркнут. Я чувствую какую-то собственную значительность. Особенно на подступах к лету мечтаю об обилии браслетов на запястьях, балетках для удобства передвижения и собранных кверху волосах, чтобы таскать на себе серьги любой длины, не выуживая их из спутанных прядей полуночью, когда едва хватает сил на то, чтобы смыть с лица копоть и пудру вместе с чьими-то поцелуями. Летом можно в короткой юбке сорваться куда угодно, побежать в поля, в лес, опасаясь только подцепить клещей... Я брежу этим временем года, его освобожденностью от вечно холодеющих ног и хмурых похожих один на другой дней, когда только и остается, что тупо пялиться в комп и едва не со слезами вспоминать мятные от теплоты и свежести закаты.

Раньше я хотела жить так, чтобы про меня можно было снять какой-нибудь молодежный фильм, дышащий свободой с непременно сидением на чердаках, рисованием бросками в пустой комнате и вставкой офигенной рок-песни под идущие кадры отрыва на отдыхе. Искусство запрограммировано на воздействие и создание впечатления. Наследие человечества таково, что, изначально вырастая на осадках душ, культура стала диктовать гибким нравам свою безупречность. Кино вырывает моменты. И это действительно отчасти совершенствование себя – тренировка души и фантазии в отстраненности. Но постепенно до меня дошло, что именно так я и живу – свободно и счастливо, для кого-то именно такой и кажусь... Это в фильмах вырезают моменты, а век идет своим чередом, прекрасный и невыносимый, со скучаниями и болезнями, разочарованиями, ленью и вознесением. Все дело лишь в том, как я воспринимаю свою жизнь. И меня вовсе не трясет от того, кто обо мне что подумает. Сначала я так говорила, лукавя, но постепенно это стало правдой. Мысли ничто не мешает стать действием, захватить все пространство мозга и подчинить его себе.

Пишу это, а вечерний город пахнет нагрето и свежо – лето все преображает. Какая-то прошлая потаенная жизнь, почти канувшая и все же наступающая, не исчезнувшая окончательно, врывается в мое окно возле шкафа с одеждой школьных времен. В движении, подкрепленном распластанным по всему солнцем, видны велосипедисты, гуляющие обыватели, подкрепляющие сказанное жестиком, мальчик, несущий на плече котенка. И так становится хорошо – жизнь наслаивается, подчиненная своим непознаваемым непреложным законам. И так хочется бежать к ним, присоединиться к этой сладкой певучей деятельности, приятным мелочам, составляющим существование.

Еще дальше зеркально визжат мотоциклы, а мальчишки идут по нагретому свободному асфальту, жуя яблоки. Идут на дачи, уголки неги и умиротворения в пышном и пыльном приго-

роде. А асфальт освежает, быстро отдав свою дневную разморенность и проникнувшись сумеречной передышкой.

Ало-золотое солнце бросает заключительные отблески всюду, куда дотягивает свои пушистые, будто покрытые персиком лучики, возвышается над желтыми пахучими цветами, захватившими целое поле по ту сторону моих окон. Дыхание, которое так скупно выделяет мне Питер.

Летние вечера... Солнечная пыль, необъяснимая усталость в джинсах и легких куртках. Смытые краски заката, перекатывающегося в сумерки. Припорошенная пыль размытых пикселей на холодеющих вместе с вечером фотографиях. Заманчивый быт одиночества и современности. Сквозные проезды города, в котором мы замурованы, и какая-то вечная осмысленная грусть, неотрывно присущая жизни в многоэтажке и скитаниям по кричащим магазинам.

3

Какая-то предтеча всей моей жизни – тот ночной поезд на Питер в зимнем лесу, бегущий сквозь обугленные снегом деревья... Что-то проникновенное и истинное, как дыхание. Монолитные вершины елей, чернь ночи, свежесть, влетающая в окна от огромной скорости, спровоцировали пробуждающееся сознание ребенка, первое столкновение с непознанным, манящим. Первая моя поездка в город, ставший неугасающей любовью. Город, вершивший русскую историю последних веков. Город дворцовых переворотов, золотого и серебряного веков, революций. Потом мне рассказывали, как я уезжала, небрежно помахав родителям ручонкой, а вернувшись, бросилась к ним со слезами умиления. Странно, что я уже дошла до возраста, когда можно сказать: «Как давно это было».

В детстве бабушка таскала меня по городу до изнеможения, чтобы в приступе духовного обогащения впихнуть в юное чадо как можно больше впечатлений, даже если они уже лезли из ушей, а чадо порывалось остаться дома и весь день смотреть мультики, заедая стресс пельменями с майонезом и неповторимым в собственной безвкусности питерским хлебом.

Раньше в моих воспоминаниях Петербург был чем-то грандиозным, но и обшарпанным, поскольку тянулся конец девяностых, а «Брат» находился на пике актуальности. Меня удивили тусклые зловонные подъезды, которые я на своем веку видела впервые, и узость хрущевок. Возле пункта приема стеклотары аккуратно под нашими окнами шныряли испитые господа. Вернувшись в огромный загородный дом Черноземья, я путала Эрмитаж с шедевром уездной архитектуры.

Сейчас Северная Пальмира отмыта, отполирована, хвастается широкими отремонтированными дорогами и вообще сверкает, как и положено такому чуду света, сочетая новостройки и старинные здания, помнящие вытуренных за границу аристократов. Пьяниц то ли разогнали, то ли они успели загнуться от цирроза, а новых в таком количестве не расплодилось. Вместо пункта приема бутылок в многоэтажку врос аккуратненький супермаркет.

Темный, подводный, чуть холодный и тем самым лиричный, удаленный от реальности Питер... Тоскливый и живой этой тоской. В мечтах все прекраснее, в том числе осень. Грусть, какая бы она ни была, поэтична. Особенно в квинтэссенции фантазий.

Мутная колыхающаяся жижа в Неве, навязчиво пахнущая морем. Завороженность воды в дождь, по которому желтым маслом растекается свет. Река разрывается под дрожащим асфальтом моста, а волны колышутся студнем. Из моего уха из-за шквального войного ветра как-то, раскачиваясь, выпала серьга и канула в бурлящей воде.

И Петергоф... Открывшийся еще до того, как я начала его вспоминать – с семейных рассказов, с фотографий девяностых годов. Странно – обычная жизнь моей семьи, но как же она тянет своим прошлым, уже свершившимся... Место, где рукотворная красота преломляет, всасывается в созданную природой. Где за деревьями увязают величественно кричащие фонтаны, скрытые в бледных листьях закатного солнца. Таинственно растворяются рябью вдали греческие скульптуры. Статуи молчаливы без душащей их воды в затихшей ткани пространства. Искристые капли, размывающие позолоту, отскакивающие от ее монументальной поверхности. Топленый свет в йогуртовом небе. И гармоничная тишина, вбирающая в себя даже треск гравия под ногами.

Одна в замороженном и беззвучном биении огромного чужого города. Я всегда одна, и это лучшее мое состояние. Я не обладаю талантом увлекать за собой людей, да и не хочу этого. Другая душа нужна, но в силу возраста еще не так сильно, потому что хочется в первую очередь понять, что я такое, а уж потом привлекать к себе другое существо.

4

Он закрыл Элин дневник, потому что ему показалось, что в дверь постучали. Наверняка какие-то глупости. Спасаясь от вторжения, он спрятал тетрадь как реликвию, которую не должно осквернить недостойное отношение. Дневник был в твердом переплете, с темной блестящей сиренью на черной обложке. Весь гладкий и блестящий, пухнувший цитатами всемирно известных личностей, он тянул в свои тайны и дебри.

Никита подумал, что это упоительно – проникать в чужое сокровенное, в то, что Эля прятала ото всех, выработав социофобскую привычку поверять избранные мысли безмолвной бумаге. Что рождалось и молниеносно уничтожалось в ее голове, даже, может быть, не успевая осознаться, выплескивалось, оставляя едва заметные пятна в вечности. Ощущение, похожее на созерцание снимков Вивьен Майер – подглядывание за людьми на улицах. Ощущение полноты и удивления. Искусство истинное, как оно должно быть, но близкое, потому что вроде бы ничего и не создано, а вышли шедевры. Великая загадка – создать, не сотворив, а вырвав, запечатлев вечность.

После Эли хоть что-то останется... Хотя бы листы переработанной целлюлозы, которые пожелтеют со временем, обтерпятся, может быть, избегнут пожара... Как те бесценные реликвии, которые порой находят – остатки безызвестных людей, которые не были выдающимися, но читать нехитрые записи которых увлекательно благодаря иной эпохе, иному дыханию.

И все же Никита считал, что дневники – это девчачье, ему ни к чему, потому что он и так помнит ощущения, события, пронзающие его жизнь. А теперь, перечитывая строки разных лет, видя постепенно меняющийся стиль Эли, ее взгляд на вещи, на одних и тех же людей, задумался. Память предает, и его тоже. Не поступает ли он глупо, пропуская происходящее сквозь пальцы? На что он обернется, когда один на один останется с неизбежностью ухода?

Странная субстанция – память. Иногда он месяцами не вспоминал об Инне, ее колдовских зауженных глазах. Почему же столько времени ему было абсолютно все равно, он в анабиозе сидел на скучных парах, потом до упаду веселился с друзьями, чему никто не верил, не понимая, как можно быть таким изменчивым с разными людьми. Ничего не понимают люди, масса, вечно все выворачивают, подминают под себя, под ту интенсивность чувств и интеллекта, какими обладают. Жалкое и одновременно донельзя опасное занятие, поэтому они с Элей всеми силами пытались оградить себя от этого болезнетворного вмешательства. И уважали великих, которые делали так же.

Массам непременно насущно что-то обсасывать – себя ли, посторонних... Даже Эля частенько пускалась в страстные и длинные изобличения биографий превозносимых ей Остин, Бронте, Вульф. Никита снисходительно посмеивался. Он не был фанатом литературы и предпочитал музыку. А вообще сосредоточивался на собственной учебе и ни во что не лез.

В сущности, и это пугало Элю, Никита даже не мог определить, что любит больше всего. Он просто жил, и этого ему хватало во всей полноте. Эля же обожала исследовать и распространяться о том, что скребануло ее, о чем красноречиво исписывала своего бумажного повременного. В детстве она с увлечением пачкала свои и чужие анкеты, а подруге, которая подзадорила ее начать первый дневник, была благодарна по сей день, хотя они потеряли связь еще в средних классах. Для нее насущно было выплескивать и заново набирать впечатления, сохранять, собирать, анализировать. Это придавало уверенности, что все не зря.

Никита с удовольствием перечитывал страницы о себе. Порой хохоча, иногда недоуменно и несогласно хмурясь. С Элей он часами мог рассказывать о своей семье и поражался, как это все, оказывается, захватывающе. Может, в интересное это преображала именно она с ее редкостной способностью все поэтизировать и видеть значение в том, что Никите казалось досадой. Порой она выдавала парадоксальные выводы о ссоре или расставании с кем-то: «Это опыт,

это обогащает понимание жизни». У нее было писательское мышление, во всем она выделяла материал, человеческий и литературный. Впрочем, многое Эля, напротив, считала приходящим и совершенно бесполезным, некоторых людей попросту не запоминала, не распознавала. Вокруг других же поднимала настоящий культ, чего уже Никита совсем не понимал. Зато прекрасно видел, за что она так боготворит Цветаеву – Эля стремилась прикоснуться к страстности суждений, необычности, зависимости от людей, трудности характера и любви, обрушиваемой на тех, кто по каким-то постулатам оказался достоин. Среди больших душ нет похожих.

Эля ухитрялась просвечивать сердцевину чужих сущностей. И, любя человека, деятельность его мозга, она купалась в приобретенных фактах. Не выпрашивая, не сплетничая, она знала непозволительно много о тех, кто был ей интересен, потому что умела слушать и запоминать. Уловить суть, автономную истину, заблуждаясь, но на этом строя миры, было приятнее, чем документально собирать свидетельства. Несмотря на скепсис Эли Никита поражался цепкости ее суждений.

Но даже за всеми этими вздохами о былом злиться на нее он не перестал, пусть и заглядывая в беспробудность слоев девушки, которую ценил так же сильно, как и не понимал. Одиночкой она была, одиночкой и останется, только если не наткнется на душу, совпадающую с ней, как два осколка. Тогда не будет на свете двух людей счастливее, связаннее, зависимее друг от друга.

5

Никита прокрутился на одной ноге и сел за включенный ноутбук, но никак не мог сосредоточиться на прочтении мейлов от своих нерадивых подневольных. Он почистил корзину, наблюдая, как ярлыки после закрытия файлов начинают скакать по рабочему столу, фрагментировал жесткий диск, поерзал в кресле, попил чай, плюнул в форточку и кинулся вспоминать, как все начиналось. Терпкий туманный вечер и мягкие теплые капли, срывающиеся вниз с беседки под окном, обязывали. Никиту захватила какая-то необратимость одиночества, единственность момента... Стало совсем грустно и невообразимо прекрасно. Проведя столько времени с Элей, он, сам того не ведая, начал многое воспринимать так же, как она. Не только какие-то внешние события и людей, но и образ мыслей.

Первое воспоминание, связанное с Элей, относилось к дням, когда они вовсе не были знакомы. Однажды он увидел на странице своей хорошей знакомой фотографии с очаровательной девушкой, какой-то поразительно одухотворенной и неприкаянной. Она запомнилась Никите, но не до того ему было – короткие невразумительные отношения с Инной подходили к своему логическому завершению, и он, уставший и смятый, чувствовал маячащее впереди освобождение и яростно к нему тянулся.

В сентябре отдохнувший и порозовевший Никита, счастливо избежавший столкновения с казарменной жизнью посредством поступления в аспирантуру, столкнулся с Элей у ограды ВУЗа и несколько секунд сладко и мучительно вспоминал, откуда ему знакомо ее лицо. Потом они несколько раз пересекались в коридоре общего факультета, он все хотел заговорить, но как-то не выходило... Вечно отвлекали то потребность бежать к научному руководителю, то очередь в столовой, то волнение.

Затем наступило факультетское собрание, куда, не спрашивая, сгоняли всех временно обязанных от лаборантов до преподавателей ради бравых лозунгов и речей декана, больше похожих на выступления вождя. За пять лет, проведенных Никитой в клетке этого здания, достопочтенный декан не сказал ни одного не банального слова. «Не употребляйте наркотиков, не пейте, не курите. Носите шапку, учитесь хорошо – и работать будет не нужно». Обещая абитуриентам беззаботную жизнь, он не только запрещал им работать, хотя яростно агитировал за это на первых курсах, но и отчислял тех, кто смел его послушаться. Никита понимал, что ни малейшим образом не желает продолжать карьеру в этом царстве двуличия и пресмыкательства перед властью имущими, но идти ему было некуда. Армия представлялась его внутреннему взору грязной отталкивающей тюрьмой, которая никак не подходит людям с его нелюбовью к подчинению.

Скучая и не слушая говорящего, Никита посмотрел вниз и увидел Элю, которая быстро и сбивчиво записывала в телефон: «Существует миллиард способов получить удовольствие нездоровым путем. И такой же миллиард умирать от счастья, не опасаясь, что утром будет болеть голова. Может, меня одну больше покоряет свежий воздух, чем маникюр и галлюцинации».

Ее пальцы путались, она вбивала не те буквы, отдувалась и старательно выворачивала телефон от взора соседей. Девушки рядом с ней в анабиозе смотрели в телефоны или окна.

Это было откровение, словно одержимые, о которых Никита лишь читал, восстали прямо перед ним и привели его мир в ступор. Никита не любил окружать людей расплывчатым ореолом, а с Элей это получилось само. Ему это казалось захватывающим, как психологу, который препарирует пациента во всех невидимых направлениях. Остальные были какие-то однообразные, и он даже не мог толком объяснить, чего хотел от них.

Впрочем, ему было вполне достаточно друзей и проблем, чтобы всерьез не размышлять об Эле. Она была чем-то вроде приятного разнообразия в сутолоке университетских коридо-

ров. Может быть, когда-нибудь... Думать о том, что творится у нее в голове, было приятнее, чем объясняться, а потом мучительно гадать, что делать дальше, что говорить, когда разговор не клеится, а радужные надежды сменяются суровой необходимостью выкручиваться и сохранять от посягательств свой мир. Никите казалось, что человек должен быть свободен от отношений, от их связанности и тупика определенности. С самого детства он именно так видел любовь. Его удивляло, как охотно о своих путях говорят остальные.

Без восторга, но Никита влился в непрерывную околонучную имитацию и беготню с бумажками и глупыми поручениями деканата. Все путалось, исчезало и требовало в волнении перемещаться, чуть не наскакивая на людей в аудиториях, к преподавателям, которые уже стояли на пороге университета и предвкушали возлежание перед плазмой. На вопли Никиты они с обреченным видом оборачивались. И сквозь эту бессмысленную катавасию он сталкивался с Элей то на улице, то в университете, то видел ее в окне автобуса.

6

На очередном никому не нужном собрании, проводимом с целью вдохнуть в студентов патриотизм и единство вместе с верой в нерушимость православия и самодержавия, Никита сел в колошу. Не успел декан с победоносным видом начать нелепую промывку мозгов, а Никита подумать, что тот отнимает хлеб у Милонова, попутно отмывая неплохой бюджет ВУЗа, как услышал звонок телефона и с ужасом понял, что музыка доносится из его кармана. Никита порывисто дернулся, но успел ударить по кнопке только тогда, когда все поняли, откуда исходит разнесшийся по аудитории гром аккордов АС/DC. Едва ли злобный металл воодушевил основной контингент учащихся. Дорожа местечком в раю, Никита чинно потупил глазки, выслушивая распекаательства декана.

Зато Эля, вновь сидящая на ряд ниже, внезапно разрешила его внутреннюю дилемму.

– АС/DC? – с легким сомнением от несовершенства памяти спросила она.

– Ага, – ответил он с той особенной радостью недоумения, которая сопровождает распознавание единомышленника в толпе несуществующих людей.

Отстраненная, но странно сосредоточенная девушка озарилась неожиданной улыбкой.

– Офигеть, – сказала она с похожим оттенком обретающего одобрения.

Это стало началом пленительной охваченности другим существом, не отравленной влюбленностью. Той молниеносно вспыхивающей дружбы и сродства, которые соединяют молодых и не обремененных, которую так больно и противно обрывать, когда обстоятельства или любви разводят разнополых друзей. Влечение тогда становится единственным выходом остаться вместе, потому что иначе попросту не выходит, не выживает. Пару, цепляющуюся друг за друга, все понимают. Иначе обстоит дело с друзьями. Если они живут рядом, еще возможно поддерживать связь, но если разъезжаются, то с каждым днем взаимодействуют меньше. Из этого Гордеева узла существует два выхода – появление кого-то, кто дорог больше и с кем можно спокойно спать и откровенничать, либо спать и откровенничать друг с другом. Вот почему дружба проигрывает любви – она дает еще меньше гарантий, что друг проживет рядом всю жизнь. Здесь дело не в человеческой природе, а в обыкновенном механизме жизни. Ни Никита, ни Эля об этом не задумывались. Дни были слишком заполнены, многолики, чтобы предаваться фатализму. Тем более, Эля признавалась, что ни за что бы не согласилась узнать будущее.

– Это бред, – открывала она едва ли не в первый день знакомства, – жизнь тем и хороша, что не знаешь, умрешь ли завтра или встретишь рассвет, который станет судьбой. Какой будет кайф, если узнаешь все наперед? Это как когда тебе рассказали содержание книги, которую ты страстно хотел прочитать и о действии которой фантазировал. Разница в том, что в этой книге главный герой – ты. Так еще обиднее. Представь, какой ужас узнать, что умрешь через год...

– Может, в этом все же есть светлые стороны. Привести в порядок дела, например, – отзывался Никита, чувствуя особенное возбуждение от обретения духа, испытывая потребность открыть, вкачать в него как можно больше, пока не улетел, не разонравился, не разочаровал.

Разочаровывали всегда, это был закон. Слишком, наверное, сам он был неуживчивым за внешней покладистостью. Эля же, как отражение, выглядела недоступной, слишком в себе уверенной, поэтому к ней редко подходили на улицах – она слишком парализовывала своей отрешенностью, ее почти опасались. Боялись особой внутренней обособленности и силы быть цельной. Внешне она была непримирима и жестка в суждениях, когда ей некого было опасаться, и мягко – отстранена, но непреклонна, когда совершалось что-то, что ее не волновало. В общем и целом, волновало ее мало что из повседневности. Никита прекрасно видел ее умение прощать, сострадать, терпеливость и собранность, но переходить установленные ей грани никто не отваживался.

– Дела и так должны быть всегда в порядке, ни дня не прожито зря. Я и так пытаюсь хлебнуть как можно больше полезного. Если я завтра умру, я не пожалею, что прожгла свою короткую жизнь.

Никита с пониманием и каким-то странно взрослым снисхождением улыбался и согласно жмурился.

Стоило дать ей импульс, Эля загоралась и настраивала диалоги с людьми, воображение которых пыталась поразить. Она жаждала покорять мыслью, словом, смелостью, действием.

Никита и представить не мог масштабов ее одиночества. Одиночества, в которое она загнала себя добровольно, слишком разбиваясь о людей, об их неуютное оголтелое мнение, которое она не спрашивала. Они ее ранили, инъецировали неуютностью. Она никогда не была с ними настоящей. За пределами их тел и пониманий дышалось вольготнее.

Дружбе, основанной на сродстве, нет начала. Она водворяется с полувзгляда, полуслова, оценки. Они не хотели заниматься такой ерундой, как любовь. Она была для обоих низменнее.

7

Чего-то в друзьях мне не хватает. Интересно с ними настолько, что я забываю о времени, лишь в единичных случаях, когда моя извечная внутренняя серьезность – мерило всего, что я вижу – перекрывает задор. Порой мне стыдно оттого, что друзья так добры ко мне, а я плачу им такими рассуждениями. Обратная сторона потребности в окружающих никогда не достигала во мне таких пожирающих масштабов.

Жаль, что мне не попался тихий мальчик с симпатичными глазками... Хотя я даже не умею флиртовать. Позор, дожив до двадцати одного года, так вести себя с парнями. Большинство вовсе не интересно, а с остальными я свой в доску чувак. Есть и третья категория – милашки, познакомится с которыми не хватает духу. Я слегка утрирую, как и любой человек, описывающий свое отношение к какому-то явлению («Мысль изреченная есть ложь»). До сего момента, когда я, наконец, начала раскрываться окружающему миру, я не была особенно заинтересована тем, что происходило вне меня. Слишком хорошо было мое детство, слишком часто я оставалась в одиночестве, потому что все домочадцы были заняты. И это стало образом жизни. Наверное, я перечитала английских романов. И горжусь этим, как большинство поступающих так же, потому что человеку свойственно благодаря чему-то считать себя лучше прочих. В этом корень хвастливости. Хвастливость – высказанное превосходство, надменность – не высказанное.

Отсиживая иногда скучные, а иногда великолепные дни в университете, я ковыляла домой, надеясь застать дома чашечку кофе со сливками, устроиться возле монитора и, испытывая непонятную усталость расслабления, продолжить свое кинематографическое образование. В обычай нашей группы вошло упрашивать преподавов отпустить нас пораньше с последних пар, на что те увертливо молчали.

В лучшие дни, когда моя социопатия блокировалась притоком весны к глазам, мы с одногруппниками шли падать на коньках, чкаться по торговым центрам или кататься на лошадях.

Люблю жизнь. Люблю особую атмосферу города, занятости, молодости, кед для быстрого бега, рюкзаков и электронных книжек. Имитацию бурной деятельности, важности копаний перед чашечкой недешевого кофе, респектабельность от сознания, что ты студент, а потом будешь состоявшейся личностью. Семьи нет, и не очень тоскуешь по душе рядом в одинокие вечера. Вполне хватает случайных компаний из людей, которых порой не хочется слушать. Но уже прорывается что-то... всем в конечном счете нужно одно – чтобы их любили. Ну и деньги, естественно.

Летними сумерками воздух меняется очень быстро, не успеваешь уловить его мелодичную прелесть, он рассеивается, обостряется. В пространстве появляется жажда деятельности, она словно подталкивает выбежать на улицу, а не сидеть в плену штор и стен, мешающих обзору. Топать по высушенному песком и пылью асфальту, остывающему после плодотворного дня, когда будоражащее солнце застилает тихие улицы, и нет мочи терпеть это ощущение счастья, молодости, надежды.

С приходом тепла становится веселее, лучше, легче дышать. Беспреданно тянет вечерами кинуться в водоворот туда, где за полями после гор обрывается в океан неба огромный сизый мир, раствориться в этом, проникнуть, слиться... Что если люди, которые в старости уходят из домов, просто идут за зов? Я тоже испытываю потребность всегда куда-то брести, толком не зная цели, зачарованная туманными перспективами. Вся жизнь – путь с завязанными глазами. Путь несовершенства, градации, преломления и фантазии памяти.

Мне, несмотря на ориентировку в прошлое, его тайны, нравится мое время. Прогнозы не сбываются, апокалипсисы отодвигаются, на Марс мы еще не полетели, так что говорить об этом? К чему эта истерия по тому, что, возможно, никогда и не произойдет? Лучше бы люди с

таким же рвением чистили и штопали свое настоящее. Веру в пустой треп и неосуществимые мечты я переросла в подростковом возрасте, оставив фантазмагориям безопасное пространство лишь в своей голове.

Мое время, моя молодость. Когда человек стареет, у него больше нет времени, только горечь хлещущей по щекам юности. Первые любви и университет вдруг оказываются лучшим, что было, где-то за второй половиной жизни, когда понимаешь, что все обрывается. Я же просто наслаждаюсь каждым дождем, увлажняющим жирную почву.

8

Никита – первый и единственный из всех, с кем я часами захлеб говорю о Цветаевой, о том, что не люблю музыку на нее. Она от нее отвлекает. Это чей-то взгляд, не мой. Марина Ивановна у каждого должна быть своя. Свою я не отдам. Не выношу так же и того, как кто-то читает мои любимые стихи. Это кошунство, чтецы все делают не так, вклиниваясь в мой стерильный мир любимых поэтов, топчась в нем. Цветаева и подобные ей певцы человеческих проявлений олицетворяют мир, к которому я едва ли прикоснусь – так он разнопланов, да и прелесть его в моем воображении. Не достичь, не окунуться туда, лишь провести пальцем, да и то будет счастьем.

Разница между Никитой и остальными моими друзьями состоит в том, что ему интересно. Он понимает. От хорошего воспитания, может, от нежности и немного жалости ко мне... От скромности его этой невыносимой... Я не знаю. Люблю выдумывать, и, кажется, вновь выдумываю сейчас.

Все я выплескиваю на него в каком-то приступе озноба, пока можно, пока не перерубило. О деревьях возле моего любимого родника, о воздухе... О Queen – этом растянутом на годы ни с чем не сравнимом наслаждении. Они как любовь всей жизни – надоесть не могут. Фредди такой родной. Он мне ближе друзей, постоянно снится в ореоле доверчивого незащитного человека. Он дает мне радость и вдохновение каждый день и никогда не огорчает. Его божественный голос растворяет в себе, я уже не совсем я в такие мгновения. Осязаемое наслаждение, настоящий нескрываемый экстаз.

Экстаз доносить до чужого сознания то, что до безумия люблю, что застилает для меня весь остальной скучный мир повседневной суеты и каких-то остатков, выжимок из людей, которые вроде бы и чувствуют, вроде бы не злы, но тем не менее не те. Которые окружают повсюду и колют необдуманно фразами. Что они вообще думают, игнорируя то, что действительно ценно, огромная загадка, которую даже распечатывать неинтересно.

Абстрагируясь, Никита любит людей, что для меня недостижимо. Я утопаю в одиночестве, он веселится с друзьями, а результат один. Разными путями мы приходим к одному. Но порой мелькает между нами что-то... недосказанное. Как будто кровь другой группы сворачивается в чужих жилах.

9

Я пытаюсь отогнать нескончаемый страх за будущее по мере приближения выпуска... Страх, здорово портящий мне настроение по вечерам, когда я остаюсь наедине со своей жизнью и осознаю, как она хороша. И от лени особенно не заморачиваюсь над вездесущими проблемами. Выпускной в школе стал избавлением, выпускной в универе – приближающейся катастрофой. Так в кайф мне было это ощущение значительности оттого, что я выхожу из инста, у меня есть жизнь, занятия... Я стою чего-то, у меня есть будущее. Может, это просто самообман, но я так и не научилась мыслить по-взрослому, постоянно пребывая где-то рядом, но за пленкой-гранью. В период написания диплома у меня было достаточно сил и времени, чтобы утром попрыгать на кафедре, потаскать пробирки, возможно, даже отогнать спирт или замешать питательную среду, повосхищаться видом из окон, поскучать, перекусить в столовой с подругой и до наступления истинной усталости убраться восвояси, пустившись бродить по городу или пригороду.

Весной... Весной все иначе. Жизнь зависит не от объективных обстоятельств, а в большей степени от восприятия их. Порой утром мне кажется, что я жалкое ничтожество без будущего, без проблесков, обреченное на бессмысленное волочение ног на протяжении ближайших лет шестидесяти.

Дома с его до нервоза обустроенным бытом, когда я приходила в неистовство, видя водяное пятно от кружки на столе (разумеется, от обилия свободного времени), меня ждала неуловимая прелесть вещей, образа жизни. Окружения, которое я создала себе в квартире, доставшейся в наследство. Том Ахмадулиной на столе, а на диване небрежно раскинутая пестрая юбка. Это едва ли в полной мере характеризует меня, но все же привлекательно, по-девичьи прелестно, что мне особенно дорого, потому что женщиной я быть училась, как и всему, что из себя представляю. "Женщиной не рождаются – женщиной становятся", – говорила великая Симона. Мы сами делаем себя в любом случае, до самой смерти, каждый день. И деградацию производим сами. Потому что работа мозга непрерывна, часто безотчетна. Даже последний обыватель читает или смотрит что-то совершенно отупляющее и никчемное, не задумываясь, что крадет у себя последние крупницы просветления.

Ветерок в окне, забирающийся в мои шуршащие волосы. И мелодичные аккорды НМ, внушающие мне беспредельное чувство жизни и растворение пополам со светом...

То, что на поверхности – мода, бытовые разговоры, лекции, скука, машинальные дела вроде стояния в очередях и драяния полов монотонно уходит, не цепляясь за память, потому что относится к категории жизненного мусора, который никоим образом не способен приподнять, вынести на свет. Напротив, он тянет вниз и засасывает. От людей, пропагандирующих этот приземленный материализм, надо шараться, а не водить знакомства. Потому что они отнимают не только время, но и высасывают душу, забивают ее, паразитируют на ней.

Я рождена быть сторонним наблюдателем, который из своей тишины ревностно подмечает каждую мелочь. Мне претит быть в центре чуждого внимания потому, что это предполагает волей-неволей выслушивать мнения людей, которые звучат тише, чем трава под ногами. От травы есть польза – она перерабатывает энергию Солнца в фотосинтез, радует глаз своей заводной зеленью.

10

Никита, вновь оторвавшись от дневника, ставшего увлекательным путешествием в прошлое, раскрывающееся с иной, ирреальной стороны, невольно усмехнулся, как разителен был контраст от встреч с Элей и Инной.

Инна сразу зажгла, разгорелась сама, пробудила то, о чем принято говорить лишь намеками. Эля по сравнению с Инной казалась просто приятной девочкой, свободно одетой, с яркими кусками порезанных волос. Может, Инну бы и хватило на меньшее время, но запал был куда ярче.

– Если про девушку можно сказать только, что она симпатичная – она проиграла, – припомнились слова Эли.

Больше всего в девушках он любил пальцы. В меру длинные, припухлые, с ухоженными не длинными ногтями... Нарощенные когти отвращали от их носительницы с неумолимой силой.

Бывало, девушки попадались хорошенькие, но в них не было определяющего – образа, духа, они собирались лишь чредой разрозненных деталей. Никита смеялся над теми, кто говорил, что внешность второстепенна – так судили лишь те, кто не умел читать неуловимые, но с головой выдающие детали, жесты, взгляды, поджимания рта.

Когда-то детали их встречи были очень важны, периодически всплывали в памяти, но уже без драгоценных подробностей – ощущений, воспоминаний о полуулыбках и запахе в аудитории. Пару раз он видел Инну участвующей в ничемных университетских олимпиадах и концертах, где сам не прочь был спеть, когда разрешали. За продуманностью Инны проглядывала поверхностная непринужденность. Несмотря на колотящееся сердце, продолжал строить из себя Казанову, подпитываясь взаимностью. Вспоминать все это теперь было досадно.

Когда Никита выдумал ее образ, помноженный на интенсивность новизны Инны, образ этот редко бывал так же живуч и многогранен, как человек рядом с бесчисленным множеством преломлений. На отражение цельной личности не хватало фантазии.

Тем больше обескуражило запинаящиеся чириканье, произнесенное в укромном местечке городского парка:

– Ты, наверное, меня убьешь.

Ее глаза, прежде такие искрометные, почудились ему пустоватыми. Из Инны как-то разом ушла сердечность, которая парализовала его в первые их встречи. Может, он неверно все истолковал, Никита ведь знал, что люди слишком часто ошибаются, чтобы верить даже себе, так все размыто в мире интерпретаций. Здесь не требуется даже лгать, достаточно рассказать одну историю с трех разных точек зрения.

Все пошло крахом. Первый, казалось, по-настоящему многообещающий роман. Поначалу скорая свадьба Инны с состоятельным, но нелюбимым мужчиной старше нее, подобранным родителями, не показалась Никите катастрофой. В силу неопытности он не умел или не хотел заползти вглубь событий и продолжал встречаться с Инной.

– Я не могу отказаться, – страдальчески отвечала она на его закономерные вопросы, – родители уже заплатили за свадьбу.

– А как же мы?

– С нами ничего не случится.

– Ты вроде собралась жить с другим.

– Он ничего не узнает.

Никита шел домой и тихо негодовал. Ею она хотела использовать как игрушку, мужа как мешок с деньгами, а сама при этом продолжала казаться самой себе воздушной. Сперва он отнесся к ее жениху как к тирану, который женится на девушке чуть ли не против ее воли.

Теперь понял, как подло вел себя. Как бы он чувствовал себя на месте этого человека? Который состоялся и хотел теперь создать семью... Вполне естественное желание.

Когда Инна склонялась к нему, чтобы губами прикоснуться к шее, Никита уже не закрывал глаза в немом блаженстве. Он чувствовал что-то отравляющее в мозгу и крови.

И тут же его мысли улетали к жениху Инны. Первая боль прошла, но все же было мучительно внимать друзьям, а думать при этом о другом. Тайком слушать Земфиру и Би2, обращаясь к их ускользающей, даже порой вымученной лирике тоски.

Где начало нашего отношения к человеку – в анализе всего, что может дать внешнее впечатление, или в перенесении мнения о внутреннем устройстве объекта на его лик? Когда-то Никита мечтал стать физиономистом, но быстро понял, что человек – слишком сложный механизм, чтобы иметь какое-то систематизированное суждение о его внутреннем мире. Сам факт его отражения на лице бесспорен, но однозначно судить, что такие-то черты характера обязательно приводят к таким-то складкам, Никита считал идиотизмом.

Он говорил об этом с Элей. Он очень любил говорить с ней обо всем, что занимало его. Она была как будто его ненаписанным дневником, дневником – собеседником.

– У Франсуазы Саган умные блестящие глаза. Кажется мне так, потому что это объективно или потому, что я знаю, что она такова? Как можно однозначно ответить на этом вопрос? Однозначность все губит, вгоняет нас во тьму. Мы бесконечно предвзяты. Мудрость не бывает линейной. Мудрость – это широта. Понимание, что все кругом – бездна.

Никита не знал, кто такая Франсуаза Саган и какие у нее глаза, но слова Эли были настолько точны и полны, что он в каком-то благоговении не нашел, что ответить. Она была просто безмятежностью, облегчением.

11

Порой хочется лишь гулять до упаду по облитым солнцем полям города, где я родилась и который впитался в меня своими лучшими чертами, такого неказистого и обделенного истинной грацией архитектуры, но вскормившего меня «на своих мелких водах». Я со страхом думаю, кем бы стала, если бы выросла в крупном городе. Да, там больше возможностей, но люди запакованы, зашиты в свои квартиры, видят природу в лучшем случае по выходным. Они несчастны, должно быть, как только может быть несчастно существо, вышедшее из недр Вселенной и большую часть жизни обитающее в рукотворном. В родном городе я задыхаюсь, но и люблю его безумно, потому что без него я была бы совершенно другой, а этого мне совсем не хочется. То же самое я чувствую по отношению к моей семье.

Порой по родному городу можно погулять, не испытывая отвратительного чувства сельской загнанности. Но чаще я просто хватаю наушники и устремляюсь на дачи, в поля, в лес... Лучшие воспоминания моего подросткового возраста как раз и связаны с одинокими прогулками под стук рока – музыки настоящей свободы, смутной магии слов и мелодий. Только молчание и природа не подтачивают, а вселяют силу, успокаивают душу, открывают простор воображению и отдыху от тонн ненужного шлака, что льет на меня цивилизация и особенно люди, которые не понимают, для каких целей топчут землю. Когда деревья своим благородством и листвою перестают скрывать обшарпанные дома, раздолбанный грязный асфальт и бродячих собак, выплывающих по мере приближения к постройкам, мой маленький побег подходит к концу. И среди этих склизких запахов разложения и упадка вдруг пробивается чей-то свежий вымытый аромат. Тянувший запах теплого человеческого тела из-под слегка замазанной кожным салом куртки, неведомые фимиамы чужаков, опережающих в потоке.

Зимой – ежегодной пыткой, остается только прорваться в зазывную темень тянущего холодком и задумчивостью сада. В совершенство тьмы и ее пугающую, затягивающую глубину. В шелковую вуаль тумана, завесой гнетущую город, в мягкий ночной воздух. Распластанная по воздуху темень вливается в глаза, преломляясь и почти исчезая от истового свечения еще не полностью замеревшего заката. Деревья в пороше снега словно радуются моему присутствию и тянут ко мне свои лапы, униженные призраком аромата остро пахнущих яблок, обрамленные вязкой плотностью листвы. А я только и могу, что бросаться в снег и, лежа на спине, вгрызаться в открывающееся небо. В полусумраке мутные русские месяцы – близнецы друг друга, замирают, а на небе едва заметно полыхают остаточные нити облаков, словно осадок в колбе.

Но вот распухает весна, и любимые свои окна я остервенело освобождаю от досаждающей паутины ненужных штор, мешающих взгляду вырываться из плена стен. Всегда мне, как безумной, хотелось уйти, раствориться в чем-то... Когда я видела заледенелую пустынную дорогу, ведущую в ночь, в мрак и неизведанность, то, как плененная, брела туда, сама не понимая, что хочу отыскать. Плетеными летними вечерами я лежала на своей крыше, наблюдая закаты, сумерки, ежась от ночи, растворяясь от блаженства... Все это было так просто и доступно и в то же время так волшебным, так прекрасно, тайно, мое и ничье больше! Никто в целом мире больше не умеет так чувствовать и видеть... До сих пор то время относится к самым лелеемым моим воспоминаниям. Пронзающие лучи эйфории хочется удержать, ухватить, спрятать от посторонних.

Я часто читаю романы – исповеди вроде творений Сильвии Плат. Не то чтобы я пленена ее стилем изложения, но любой неплохой срез жизни от первого лица становится интимным, ты словно проникаешь вглубь мозга автора, насколько это возможно. И постигаешь глубины сознания – полезное разнообразие. Для меня всегда было наркотиком копаться в чужих головах, бзиках и тайнах.

Белый свет летних вечеров моих лучших мгновений. Открытая им кожа, ласкаемая легкой одеждой, не способной защитить. Но так почему-то легче и спокойнее. Словно нападать никто и не собирается. Ветки деревьев со звуком отточенных бус бросаются в окна проезжающих маршруток, борясь со стеклом. Вперемешку, вдогонку музыке стучат ахматовские строки. Бархатный поцелуй лета едва касается кожи, но оставляет в душе неприметный восторженный трепет. Талое время освобождает воздух вечера от зноя. Слабый летний дождь иногда прыскает в глаза короткими переливами.

Непостижимая прелесть сочетаний нот Neutral Milk Hotel, ощущения, которыми они заряжают, искомое – не вычурное, задушевное, позволяет чуть глянуть в дебри души творца, изнутри прочувствовать мир человека, к которому пришла эта музыка. Так ведь должно быть – любое настоящее творение – исповедь, автопортрет. Поэтому цепляет лишь искренность и почерк, которые проступают через шелуху жирными чернилами.

Лучшее, что я слышала – это «In the Aeroplane over the Sea», хотя, может, Милки просто попали под мое летнее настроение. Мэнгам потихоньку капает своим успокаивающим вокалом, переворачивает душу. Хочу одного – чтобы всегда было солнце и вызываемый им ласкающий свет, чтобы эта песня не кончалась, стала гимном жизни, а я двигалась в ее утверждающем мотиве до конца или даже после. Слегка хиппарское мировоззрение – широко раскрытые глаза и лицо, направленное к солнцу. Без мишуры того, как надо и почему нельзя.

Милки преломляют этот несчастливый город потребителей и работников в сфере потребления (какой пугающий своей искусственностью замкнутый круг!) через призму своей особой солнечности, делают его каким-то притихшим, притушенным, неважным. Будоражат отголоски чего-то до боли родного, что словами не опишешь, чего-то неуловимого, как танец волос в летнем беге, как любящие объятия, как проза Ремарка, внешне скупая, а на деле описывающая важнейшее.

Вечно спешащие уставшие люди преображаются и тут же стираются для меня, оставаясь досаждающей помехой перед прекрасным, перед единением с гармонией. Обуревают, несет счастье молодости, простых радостей, незамутненных циклическими проблемами содержания семьи, от которой тошнит, и престижа перед людьми, которые не нравятся. Мокрый сияющий асфальт, ища красоту в таком непоэтичном и незначительном, как вздутый после дождя город, вдруг оглушает, заставляет дышать даже как-то уплощенно за этими никчемными заботами.

Музыка, давно в меня вросшая, сопровождает не только во время походов по городу. В одну из многих моих поездок не велосипеде повсюду, куда поворачиваются колеса, я заехала на территорию своего института и посмотрела на золотисто-зеленые, ослепительные листья дерева неподалеку. Подъем, точность совпадения момента с душевной направленностью спелись так причудливо, что мне показалось, будто дерево рядом – красивейшее, что мне вообще довелось видеть в жизни. Хотелось закричать: «Остановись, мгновение!» Лучше уже не будет, это пик... Так бродит и тает сердце.

12

Что-то есть в этом фундаментальное, упоительное, крепко связывающее – приезжать в обиталище предков, видеть старомодную, местами потертую мебель не самого лучшего качества, на которой лежит отпечаток их душ, дел и мечтаний. И эти люди, похоронившие сами себя, которых мне так безмерно жаль и от которых я каждый раз убегаю обратно в Питер...

Дома все так близко, знакомо и до ужаса дорого... Первая адаптация, окутывание домашними запахами геля для душа, мокрой земли у крыльца переходят в странное воспоминание всего, что было рядом на протяжении первых семнадцати лет моей жизни. Куча вещей, никому не нужных, безвкусный залежалый хлам. Разбирать это и искать сокровища минувшего... Первым делом, возвращаясь на каникулы, я бросаюсь оттирать унитаз.

Дома русских семей перекрещены, пронизаны незаживающей историей, воспоминаниями, болью. Дом навеки сросся уже со мной, столько километров часов было там прожито. Мне нравилось экзальтировать все, к чему прикасалось мое воображение. Чувствовать себя чем-то значимым, стоящим, раз есть уже угол отдельно от родителей, пусть и купленный ими; добиваться успеха в чужом, но таком родном городе. Не было больше сил выносить полнейший бесперспективняк дальнейшего прозябания в игрушечном городе, где есть только демо-версия жизни.

Мама заходила ко мне, неприкаянная, не могла сказать ни одного путного слова, топчась на ерунде, которая бесила меня, отвлекала от истинного... Она тревожила меня только чтобы сказать очередную ненужность. Я ощущала себя неблагодарным Базаровым, но вполне понимала его. Мне было жаль предков, но обитать с ними я больше не могла. Моя любовь к ним перешла в хронический долг, потому что они угнетали меня своей заботой и приземленностью. Я чувствовала, что мои добрые дела по отношению к ним совершаются как-то механически. Порой я вспоминала то непреодолимое чувство тяги и восхищения, которое вызывали во мне родители еще десять лет назад. И мне становилось цепляюще-грустно.

Родители мне казались чуть ли на жалкими из-за своей чрезмерной любви ко мне. Любви, основанной на том, что как личности они, еще не пройдя пятидесятилетнего рубежа, полностью похоронили себя. Остались хорошими людьми, но без полета, к которому я рвалась. И я оказалась единственным приличным достижением на их веку... Мне хотелось оттолкнуть их подальше из-за этого. Хотелось, чтобы они поднялись и начали, наконец, летать. Мои родители идеальны по отношению ко мне. Но и это не лишено недостатков. Человек найдет их во всем, что я и делаю без зазрения совести. Слишком привыкла охранять свое внутреннее поле, чтобы меняться теперь.

Горечь одиночества и радость в глазах родителей... Жаль их безмерно, оставленных погребенных в провинции. Нет слова страшнее, ибо это олицетворение всего засасывающего, уничтожающего лучшие порывы, отрывающего крылья, впрыскивающего яд в мозг, постепенно приводя его к деградации. Сами себе мои предки выбрали эту жизнь... Они молоды, могли бы встряхнуться, уладить вопросы с недвижимостью и переехать ко мне в большой прекрасный город, где столько людей и возможностей... Но они продолжают утрачивать жизненные ценности и радости, все более сужая поле своего существования.

Детские воспоминания, несмотря на их ерундовость, пропитаны какой-то цельностью, ощущением дикого счастья, которое теперь с лета годов вызывает горький отклик и едва ли не зависть к самой себе тех лет. Порой так тянет остановить время... Я никогда не понимала Фуста. Непередаваемая атмосфера фантазий и родственных им воспоминаний, включающая запахозвуки и особое преломленное восприятие, даже свет... Я слышала теорию о том, что воспоминания со временем трансформируются и дополняются фантазиями. Видимо, со мной именно это и происходит, я всегда чуяла какой-то подвох в собственной памяти, что и толкнуло

меня на заре начать систематизировать свою жизнедеятельность. Это как сон, обработанный и отполированный годами, дополненный тем, что почему-то запало в душу. Все и не так совсем было, возможно... Очень часто, пересматривая фильмы из детства, я, уверенная в правильности отпечатавшихся в голове фраз, при пересмотре слышала совсем иные.

Я мало что оставила от своего подросткового возраста. Только теперь начинаю думать о том периоде как о становлении себя и поиске свободы, но тогда я не воспринимала себя как какого-то стереотипного подростка. Может, именно пропаганда этого образа и делает подростков такими – причина заменила следствие. Я даже не хотела взрослеть, а это происходило по инерции. Должным образом я не насладилась этим периодом, хотя во многом он продолжается до сих пор.

Раньше я с потаенной горечью присматривалась к шумно щебечущим компаниям, но останавливалась и не делала последний шаг. Это спасало меня сотни раз. Спасало от белиберды подросткового сплочения и от последствий лихой жизни при отсутствии мозга. Вместо этого я бегала с гитарой в музыкалку и обратно, по пути впитывая The Rasmus и вполне радуясь этому обстоятельству. Без них я едва бы выжила. Подростку в этом осознанном кошмаре взросления и понимания ужаса окружающей его клоаки насущен тихий светлый островок, хоть со временем белиберды меньше не становится. Просто кожа задубляется. Ничего не меняется лишь для тех, кто застыл в развитии, кто развитие это и не начинал. Хотя взросление порядком отравляет жизнь – теперь мне труднее отвлекаться, я постоянно думаю о том, что заболела, умру, потеряю эмоции...

13

Порой я читаю авторов разных лет и понимаю, что, как ни изменился мир и отношение к человеку, душе, психике, основное осталось нетронутым – окутанность образом другого. Может, все это является частью какого-то благородного замысла Вселенной дать нам счастье в этих земных оболочках.

Впервые я увидела Илью сразу после того, как подружилась с Никитой. Это было ничего не значащее знакомство, они с женой гуляли в парке с ребенком, мы с Никитой делали то же самое, раздражаясь диким гоготом на все пространство вокруг, даже часто насаженные деревья не приглушали этой феерии. Как отлично воспитанный человек, Никита представил всех, с одного на другого переводя свои затемнено-хрустальные глаза. Этого не делал почти никто из моих остальных друзей. И это раздражало, особенно меня, перебравшую с высококлассными английскими сериалами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.